

Август Мейхью

**Блумсберийская
красавица**



Август Мейхью
Блумсберийская красавица

«Public Domain»

1868

Мейхью А.

Блумсберийская красавица / А. Мейхью — «Public Domain»,
1868

«Из всех даровых зрелищ, которыми джентльмен, располагающий малою толикою свободного времени, может пользоваться в Лондон, самое, по моему, жестокое зрелище представляет дюжий, жирноволосый, обрызганный кровью мясник, влачащий за ногу обезумевшую от ужаса овцу и вталкивающий ее в бойню, увешенную свежеободранными овечьими трупами...»

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Глава I. Крайности сходятся | 6 |
| Глава II. Голубки | 13 |
| Глава III. Заря счастья | 19 |
| Глава IV. Мисс Анастасия пристроена | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

Август Мейхью
Блумсберийская красавица
(The finest Girl in Bloomsbury, by Augustus Mayhew.)

Глава I. Крайности сходятся

Из всех даровых зрелищ, которыми джентльмен, располагающий малою толикою свободного времени, может пользоваться в Лондон, самое, по моему, жестокое зрелище представляет дюжий, жирноволосый, обрызганный кровью мясник, влачащий за ногу обезумевшую от ужаса овцу и вталкивающий ее в бойню, увешенную свежесободранными овечьими трупами.

Упавшая среди улицы лошадь производит тягостное впечатление; точно также и загнанная собака, точно также и пьяная, едва держащаяся на ногах женщина, несущая ребенка головою вниз; но ничто не поражает меня так болезненно, как вид угнетенной овцы. Я, разумеется, имею пристрастие к нежной, хорошо-приготовленной баранине – зубы у меня великолепнейшие работники по этой части и желудок мой в отличнейшем порядке; но если я увижу, как бедная овечка дергает ногами, отстаивая драгоценную жизнь, и представлю себе, что через несколько часов она будет висеть в мясной лавке – меня искушает желание взять баранью сторону в борьбе, разогнать ленивых мальчишек, которые бесчувственно глазят и смеются, и, схватив мясника, за *его собственную* ногу, заставить его немножко подрыгать.

И еще другое любопытное действие производит на меня вид бедного и краткого животного, а именно напоминает мне очень дорогого приятеля, Адольфуса Икля. Это был величайший из мучеников, которым только когда-либо я имел честь быть представленным; это была сама улыбающаяся невинность! и его как овечку роковая судьба оторвала от родимого пастбища живого предала на съедение!

У меня, леди и джентльмены, были свои тяжкие испытания в жизни и они смягчили меня, как толчея смягчает пеньку, и развили во мне искреннее сочувствие к злополучию ближнего. Теперь сердце мое способно чутко отзываться на чужое горе. Если человек, мучимый таким голодом, что может проглотить полбыка как пилюльку, бывал вынужден ограничивать свой обед чашкою кофе, то подобное испытание несколько обучает его быть человеколюбивым в отношении жалкого горемыки, признающего, что он двое суток не пробовал никакой пищи. Когда около меня шелестят лохмотья и заплаты, бормоча о пенсах, необходимых для приобретения ночного приюта, я живо вспоминаю ту ночь, когда я был выброшен за дверь и должен был протрястись до рассвета на скамейке в парке, в одном фраке и в рубашке с вышитой грудью. Для внушения нам человеколюбивых чувств ничего нет лучше, как малая толика познанного страдания. Я знаю одного джентльмена, который чрезвычайно легко подает милостыню рябым нищим, потому что сам раз чуть не умер от оспы.

Но, Господи владыко! что значат мои мизерные злополучия по поводу истощенных финансов и утраченного кредита, что значат те долгие дни, когда мне нечем было существовать, некого любить и не с кем жить? Зуб, который так мучительно болел во время оно, давно выдернут, боль забыта и я снова могу щелкать орехи с любым веселым молодцом на ярмарке.

Мой короб бедствий и кручины навалился на меня не вдруг, не с разу, а малыми частями и постепенно. Первая моя беда была самая легкая, из всех меня постигших. Но вообразите вы, коли можете, каково должно быть положение несчастного смертного, на которого внезапно обрушилось ужасное, непоправимое несчастье, который, прожив двадцать-пять восхитительно-безмятежных, блаженных лет, вдруг приходит к заключению, что лучше бы ему не родиться на свет; на чью горемычную беззащитную голову, бесчувственные оскорбления и жестокосердные преследования вдруг сыпанули сокрушающим градом и совершенно ошеломили, придавили и разбили его?

Такова была участь моего уважаемого приятеля, Адольфуса Икля. Он тоже попался в руки мясникам, которые быстро увлекли его в мясной ряд!

Добродушный, кроткий человек, с нежными, голубыми глазами и слабыми лодыжками, но с таким сердцем!

Скверная вещь – быть всегда счастливым. Это заставляет человека жиреть, делает его ленивым, расслабляет мозг. Кручина – великолепнейшее, капитальное средство для отрезвления всего существа и для возбуждения деятельности и бодрости.

Беда, к сожалению, не возвещает, как локомотив, своего приближения свистком и некогда соскочить с рельсов, чтоб вслед затем уснуть где-нибудь в стороне, на розовых листьях. Угрюмая ведьма крадется по следам и бросается на нас в ту минуту, когда мы беспечно идём, напевая песенку; она точно полисмен в партикулярном платье, с невинным зонтиком в руках, но с властительным жезлом и железными браслетами и кармане.

Укрепите себя рядом тихих постоянных бедствий; выдрессируйте себя так, чтобы когда начнется главная потасовка, вы могли принять оглушающие подзатыльники с любезною улыбкою и бодрым видом. Человеку, который вопил от мучительной подагры, стонал от ревматической боли, покажется приятным изменением страдание. Злополучный Адольфус Икль! Великое, сокрушительное бедствие постигло вас в ту самую минуту, как вы рассчитывали быть счастливейшим существом на земле. Злополучный молодой человек!

Я в первый раз был представлен Адольфусу, спустя двенадцать часов после его появления на свет. Он лежал, обернутый в теплую фланель, и сам теплый, как только что испеченная лепешка, и когда сиделка сказала мне, что я могу, если желаю, до него дотронуться, я копнул его как слепого котенка и проговорил: бедненький! Невинные времена, мой друг, благословенные времена и чуждые всякого коварства и плутовства!

Наши родители были соседями; их поля соприкасались. Мой папаша каждое утро гулял по своему владению в четыреста акров, и на известной границе, у изгороди встречался с папашей Адольфуса, который гулял по своему владению в четыреста акров. Они жали друг другу руки через изгородь, осведомлялись друг у друга о здоровье жен, и затем с облегченным сердцем шли по домам завтракать. Мамаша Адольфуса и моя мамаша посылали друг другу в презент молодые овощи, свежие яйца и модные выкройки. Таким образом, с самой ранней юности я и мученик Адольфус были товарищами.

Между нами существовала та разница, что Адольфус был единственным детищем, а меня судьба наделила пятью братьями. Если Адольфусу не давали желе, то ему стоило только захотеть, и желе являлось, а если я осмеливался скорчить плаксивую мину, мои чувства умирляли розгою. Все игрушки, в которые мы играли, были собственностью Адольфуса (исключая дрянного лопнувшего мячика, на который он никогда и не глянул), и как скоро ему прискучили игрушечные лошадки, родители приобрели для него настоящего живого пони. Адольфус был счастливейший малый, но он этого не понимал и следственно не мог ценить.

Меня воспитывали иначе, и я очень был рад, когда пришел конец этому воспитанию.

Отец мой был точный, аккуратный, упрямый человек, имевший неудобные для меня убеждения касательно воспитания детей. Он был, разумеется, совершенно прав, проводя свои убеждение в жизнь, но мне от этого приходилось больно, одиноко, – совсем плохо. Я пользуюсь прекрасным здоровьем, но во дни оны, если бы дело было предоставлено мне на выбор, я несомненно предпочел бы не укрепляющие тело, а веселящие дух обращение и содержание. Пятнадцать лет я питался за завтраком гороховой похлебкой, приправленной щепоткой соли, и никогда не лизнул другого пирога или пудинга, кроме мясного. Я полагаю, что мальчика, после шестичасовых упражнений латынью, не мешает поощрить какой-нибудь роскошью, и нахожу, что пуддинг из плодов в этом случае как нельзя более кстати.

То же касательно холодных ванн: оне чрезвычайно полезны, но замораживать в них ребенка до полусмерти, я считаю утрированием. То же относительно хлеба: я не говорю, что непременно надо кормить свежеспеченным, но давать исключительно черствый, семидневный хлеб, который раскусывается, как пемза и крошится во рту как зола, я считаю тоже утрированием.

Воспитание Адольфуса не было похоже на мое воспитание. Счастливый малый! он обедал с обожаемыми его родителями и его угощали, как принца Уэльского. Ему всегда предлагали тот именно кусок, к которому я всей душой тщетно стремился, и если он просил вторую порцию вишневого пирожного, его мамаша приходила в восторг, и восклицала: «милый крошка! какой у него аппетит!» Когда он являлся, разгоряченный беганьем, его так поливали одеколоном, что его приятно было понюхать; когда ночь была холодная, в его спальне разводили такой огонь, что он мог в одном белье танцевать пред камином. Иногда родители его находили, что Адольфусу полезно будет выпить полстакана портвейну и ломтики хлеба с маслом, равно как и поджаренные гренки, всегда были готовы к его услугам. Однако, сколько я знаю, здоровье его от этого ни мало не страдало. Я видал, правда, как он отпускает пояс после обеда, но он делал это не потому, что его схватывали судороги, а потому, что пояс становился немножко уже и несколько теснил его.

Едва мне минуло шестнадцать лет, я был отправлен на все четыре стороны искать счастья, как лошадь, которую тотчас осёдлывают, как только она в состоянии сдержать седло. Меня всунули в вагон второго класса, вместе с двумя парами платья и полдюжиною рубашек, и благословили на битву с жизнью, предоставив мне стать на свои ноги, если смогу, или повалиться, если оплошаю. Находя, что у меня приятная, располагающая наружность, решили на этом основании сделать из меня доктора. Я начал свою докторскую карьеру тем, что покрал все лепешки от кашлю из даровой аптеки; мне в особенности пришлось по вкусу, помню, ромовые, душистые карамельки.

Я уже предавался более серьезным наукам – ходил по больницам и обкуривал новые трубки, изучал анатомию и совершенствовался по части питья пунша – когда мой старый товарищ, Адольфус Икль, прибыл в Лондон. Оба его родители умерли, завещав всё дорогому детищу, и обещав не упускать его из виду, и покровительствовать ему, и беречь его с того света.

Несмотря на это, он впал в совершеннейшее уныние и отчаяние. Мать умерла в его объятиях. Он, плача, говорил мне, что чувствует её последнее дыхание на своей щеке, и даже показал мне местечко, где именно. Никогда, кажется, не бывало такого согласного, друг друга любящего семейства, и, проведя шесть лет в Лондоне, я с отрадным изумлением замечал подобную нежность и мягкость чувств.

Таким образом, Адольфус Икль, богатый нежными чувствами и звонкою монетой, был брошен в житейский водоворот. Добродетельный молодой человек, однако, не устоял на ногах. Я, со всеми своими испытаниями и неприятностями по части медицины и хирургии, я, который никогда не имел пенни до тех пор, пока случайно не поднял одного на Оксфордской улице – я в конце-концов гораздо успешнее и лучше справился с своими делами. Я могу теперь звонить в свой собственный колокольчик так громко, как мне угодно, могу давать щелчки и толчки своему рассыльному мальчику, когда нахожусь в дурном расположении духа, или куражиться над кухаркой, заставляя ее по нескольку раз в день отчищать медную дощечку на двери – медную дощечку, на которой вырезано изящнейшим образом: «Джон Тодд, лекарь. Прививание оспы бесплатно».

Но теперь не время распространяться о настоящем благополучии, а надо возвратиться к эпохе голода, холода и всяких бедствий, к той эпохе, когда Адольфус впервые прибыл в Лондон.

Мне стоило несказанных трудов и изворотливости пропитаться, прикрыть кое-как грешное тело и заплатить за квартиру. В те дни я полагал, что невозможно быть несчастным, имея пятьдесят фунтов в неделю. В моих глазах, Адольфус был счастливейшим из смертных. Он жил в изобилии и роскоши, – я же был по уши в долгу, и моя хозяйка вечно следила, не несу ли я, выходя из дому, узелка; она даже бежала за мной вдогонку, если ей представлялось, что карманы у меня подозрительно оттопыривались.

Иногда зависть к другу-Долли доходила у меня чуть не до ненависти; а именно в один сырой день, когда подошва моего левого сапога совсем отказалась служить, и я увидел в его

уборной, по крайней-мере, три десятка пар новёхонькой обуви. То же в тот день, когда я два часа провёл, замазывая чернилами побелевшие швы сюртука, а потом был свидетелем, как он отдал своему лакею пару платья, которая привела бы в восхищение весь Мидльсекс и прославила бы меня на веки.

Все за ним ухаживали, никому он не был должен, так что ж мудрёного, что я под час желал быть на месте этого счастливец, я, к которому ежедневно стучалась в дверь хозяйка, настойчиво спрашивая, когда мне угодно будет свести счеты?

Однажды я прихожу к нему (у него были четыре великолепнейшие комнаты, а я, увы! мостился на чердаке!) и застаю его за завтраком (паштет из дичи, ветчина, яйца и у него ни капли аппетита, а я ничего не ел с утра, кроме мерзкого, грошового кусочка колбасы!)

– Что, Долли? Еще не завтракал? – крикнул я. – Я, пожалуй, составлю тебе компанию, – прибавил я, направляясь к паштету. – Был на танцевальном вечере? – спросил с полным ртом.

– Да, – ответил он. – Я приехал от леди Лобстервиль в пять часов утра. Не хотите ли шерри?

Человек, который рад-радехонек пиву и позволяет себе вино только в самых торжественных случаях, как например, в день своего рожденья, всегда согласен выпить шерри.

– На этом вечере, я думаю, были прелестные женщины, Долли?

– Божественные, – ответил он, вздыхая: – на следующей неделе я приглашен на пикник.

Вот что значит иметь тысячу-двести фунтов годового дохода! Для бедных парней, перебивающихся фунтом в неделю, не затевают пикников!

Грум вошел с почтительным вопросом, когда подавать экипаж.

– Хотите, поедemте верхом в Ричмонд? – спросил Долли.

Я называю подобные вопросы оскорблением. Он должен был бы видеть, что на мне ветхие ботинки и мои колени должны были достаточно показать ему, что, если я только попытаюсь занести ногу в стремя, то панталоны мои лопнут и расплзутся, как мокрая оберточная бумага. Грум (бесподобно одетый негодяй, розовый и пухлый, как принц) непременно оскалил бы зубы при моем ответе: «не могу, любезный друг; у меня есть спешное дело», если бы я не посмотрел на него многозначительным взглядом.

Затем, принесено было множество писем. Все они были надушены. В одном, леди Рюмблетон предлагала место в своей ложе, в другом сэр Ташер убедительно просил его на обед; третье письмо, я полагаю, было от молодой девицы, потому что он покраснел, распечатывая его, и потому, что из конверта выпала вышитая закладка для книги.

Да, все льстили ему, все преклонялись перед его богатством!

А ведь, собственно говоря, что такое деньги? Разве после того, как вы насытились просто бараниной, вы станете завидовать какому-нибудь жареному лебедю, приготовленному для богача? Заплатив всё золото Ломбард-Стрит, разве вы можете прибавить себе вершок росту? Всё богатство барона Ротшильда разве может преобразить курносый нос в греческий? Нет; и вот тут-то мы, высокие, рослые, стройные парни, превосходим вас, богатых, слабосильных карликов.

Маленький Долли Икль, как он ни вытягивался, имел, в двадцать-три года, всего четыре фута десять вершков. Это было его проклятием. Я столько раз замечал, как он взглядывал на мои великолепные ноги и вздыхал; потом печально подымал глаза на мою величественную грудь, и вздыхал опять; наконец, устремлял взоры на мой внушающий почтение нос, и думал, с какою радостью он отдал бы половину своего состояния за такие члены и черты!

Он был болезненный, захиревший человек, и такой бледный и слабый, что любая девочка могла бы его опрокинуть. В его уборной, на камине, стояли склянки с лекарствами, на одном рецепте: «крепительное. Принимать каждое утро и вечер», на другом: «пилюли, для возбуждения аппетита; принимать по две перед едою». Он привез с собой предписание своего деревенского доктора, «который в совершенстве изучил его сложение», и осыпал золотом

столичных докторов, которые знать не хотели его «сложения». Его мамаша перед кончиною вручила ему, что она называла, «альманах здоровья», изобретенный самою нежною родительницею на пользу любимого сына; в этом альманахе были проповеди о пользе фланели, рассуждения о вреде сырой погоды и т. д. Кроме того здесь встречались удивительные размышления о домашнем комфорте; помещены были медицинские рецепты, в роде следующего: «превосходный крапивный декокт для успокоения и очищения крови», или «любимые пилюли папаши».

Уморительно было видеть отчаянные усилия Долли казаться выше того, как он был на деле: он носил двухвершковые каблуки, верхушка его шляпы была длиннее водосточной трубы, а манерой держаться он затмил бы гордого Брута. Или он так выпрямлялся и так вытягивал ножки, что, казалось, того и гляди, у него где-нибудь лопнет.

У него была слабость всех маленьких людей: он обожал громадных женщин. Чуть, бывало, завидит какую-нибудь Бобелину¹, и пропал: уставит глаза на гигантского ангела, и только бормочет: «что за роскошное создание! О, благородная красота!»

Что может быть смешнее маленького человека, который тарашит глава на шляпку прекрасного гиганта, откинув голову назад, как будто старается увидеть, который час на церкви св. Петра?

Я предпочитаю склонять голову, любуясь милым личиком моей избранницы.

Разумеется, нельзя ожидать от этих крошечных людей такого здравого смысла, каким обладаем мы, рослые шестифутовые парни. Но зато они крайне чувствительны. Бедный Долли! Впрочем, теперь уже поздно голосить. Мне прискорбно, что я некоторым образом был отчасти причиною его гибели. Однако...

Но лучше рассказать всё по порядку.

В воскресные дни Адольфус всегда приглашал меня завтракать. Раз я прихожу к нему усталый и измученный долгой ходьбой, утешая себя тем, что подкреплю силы. Можете представить мое положение, когда я узнаю, что мистер Икль нездоров и завтракает в своей спальне!

Я, однако, овладеваю своими чувствами, вхожу в спальню, и вижу, что он лежит в постели и перед ним на столике только чашечка чаю! Подобная небрежность, подобный эгоизм возбуждали мое негодование в такой степени, что когда этот карапуз поднял глава в потолок, и с вытянутой рожницей пробормотал жалобно: «я не спал всю ночь», я едва принудил себя быть учтивым. Голод превращал меня в людоеда; я чувствовал спазмы и колотье.

Однако, я, как медик, обязан был дать ему совет. У него была легкая простуда, сопровождаемая сильною зубной болью. Я, смеясь, сказал ему, что хороший завтрак вылечит его лучше всех лекарств. Но он заупрямился.

«Хорошо, приятель!» подумал я. «Вы приглашаете голодного человека завтракать, и потом преспокойно об этом забываете! Дантист отомстит за меня!»

И прежде, чем я окончил бисквитик, я уверил Долли, что ему необходимо выдернуть зуб.

Он спросил, очень ли это больно. Я щелкнул пальцами и ответил, что это скорее приятное, чем болезненное ощущение.

У меня есть правило всегда помогать приятелем, но я стараюсь по возможности выбирать между ними тех, которые тоже могут оказать мне при случае какую-нибудь услугу. У меня был приятель Боб де-Кад (еще до сих пор у меня в белье его два фальшивых воротничка), сын дантиста.

Судя по его помещению, старый де-Кад отлично вел свои дела. У него был лакей в радужной ливрее, который встречал больной зуб и провожал его в приемную, и другой лакей, весь в черном, в белом галстухе, который объявлял больному зубу, когда придти для выдергиванья. Я знаю тоже, что старый Рафаэль де-Кад сколотил не одну тысячу своей металлическою плом-

¹ Бобелина (иноск.) – энергичная, крепкая по натуре женщина (намек на греческую героиню – Бобелину)

бирровкой, не говоря уже об ерихонском зубном порошке, о привилегированных челюстях и о начетах на всякий зуб, который попадался ему в щипцы.

Зуб Долли положит старику десять шиллингов в карман, и старик в благодарность пригласит меня обедать или на вечер. Я велел ехать прямо на Блумсбери-сквер.

Но когда мы вышли из экипажа у полированной двери дантиста и я хотел позвонить, Долли объявил, что зубная боль у него совершенно прошла. Тщетно я увещевал его не ребячиться, быть мужчиною и войти. Он был бел, как алебастровая кукла и, к довершению его ужаса, старик де-Кад с засученными руками показался у окна, отчищая инструмент пытки.

Долл рванулся и побежал от меня, как дикая кошка. Я последовал за ним, зная, что такой моцион усилит кровообращение и воротит ему зубную боль. Вскоре я нашел приятеля на углу Оксфордской улицы; он сидел на ступеньке чьей-то лестницы, обхватив голову руками и мычал, как теленок.

Я утешил, ободрил его, и привел назад. Через несколько минут он уже сидел в жертвенном кресле, уцепившись за кресельные ручки, а старый де-Кад примазывался около него, пряча за спину роковое орудие. Я оставил их и отправился выкурить трубку в комнату Боба.

Прежде, чем я успел пустить шесть колечек дыму, мы услышали вопль, пронзительный крик, как будто вдруг свистнули разом шесть дудок.

Мы вскочили и полетели на верх, как резвые антилопы. Мистрисс де-Кад появилась на пороге гостиной и спрашивала горничную, как она осмелилась «это сделать?» Мисс де-Кад сверху лестницы с испугом кричала лакею в ливрее, что взорвало газопроводы.

Но я узнал голос и поспешил в операционную комнату. Здесь, расprostертая в жертвенном кресле, лежала нежная, слабая жертва, бесчувственная и бледная, а старик Рафаэль беззаботно отирал жестокое орудие и видимо был доволен совершившеюся пыткой.

– Коренной и здоровенный! – вот и все, что сказал в объяснение этот варвар.

Я завопил, требуя вина, водки, жженных перьев, уксуса и престонских солей, но бессердечный старый разбойник только усмехнулся, и сказал:

– Он сейчас очнется сам.

– Знаете ли, сэр, – вскричал я: – у него тысяча двести фунтов годового дохода?

– Создатель! я этого не воображал! – ответил он, бросая щипчики и устремляясь в двери.

Я понял, что он объявил во внутренних покоях о богатстве Долли; поскольку прежде чем я успел пощуповать пульс пациента, в комнату ворвалась мистрисс де-Кад с бутылкой водки, а за нею влетела мисс Анастасия; она запыхалась, «искала престонские соли», по её словам, но я знал, в чем тут дело: когда я встретил ее на лестнице, на ней не было кружевного воротничка и её прелестная особа не была украшена брошкой с камнями; не было тогда на ней тоже золотой цепочки, ни узких перчаток.

Мисс Анастасия отнеслась к страданиям Долли с самым трогательным сочувствием и нежным состраданием; она настаивала на том, чтобы тотчас же послать за доктором Ле-Дерг, их приятелем, и с ужасом спрашивала, сжимая руки Долли в своих: «могу ли я, как медик, поручиться, что есть надежда спасти мистера Икля?»

Мать и дочь так суетились, что совсем истолкли меня: одна совала мне в руки стакан с вином, проливая вино мне в рукав и приказывала, чтобы я пропустил хоть капельку в уста бедняжки; другая дергала меня за фалды, патетически требуя от меня «надежды», как будто надежду я носил в кармане и не хотел уделить её ей.

Даже когда Долли открыл глаза и так сильно стал дышать, как при игре на флейте, мисс Анастасия еще не смела верить счастливому исходу дела.

Едва я намекнул, что Долли не худо бы успокоиться, мистрисс де-Кад стремглав кинулась в гостиную, в одно мгновение ока чехлы были сдернуты с розовой штофной мебели, и мисс Анастасия явилась с подушкой, взбила ее собственными руками и устроила на софе комфортабельное изголовье, Долли был положен отдыхать и все удалились, осторожно ступая.

Выкурив с Бобом десяток трубок, я пришел проведать пациента. Он не спал и тер щеку.
– Больно? – спросил я.

Он поднял глаза вверх и скромно ответил:

– Очень!

– Но все-таки лучше, чем зубная боль? – сказал я в утешение.

– О, хуже! – ответил он.

После краткого молчание, он проговорил:

– Как они добры – как добры и внимательны ко мне!

– Необыкновенно добры и внимательны! – ответил я.

– Какая у них прелестная дочь! – продолжал Долли. – Она, я полагаю, с меня ростом, а?

С него ростом! Девушка Анастасия была ростом полных шесть футов, и стоя рядом, могла на него смотреть, как на садовую дорожку! Мы, мидльсекские, прозвали ее «блумсберийской красавицей», о чем я его и уведомил.

– Это совершенно справедливо! – ответил невинный Долли. – Великолепное создание!

Я объявил дамам, что пациент проснулся, и они тотчас же удостоили его визитом. Мисс Анастасия была еще пленительнее в легком, развевающемся, воздушном платье. Чувствительный Адольфус чуть не ахнул при её появлении. Кружева обертывали ее, словно облака и вились около нея, и трепетали как крылья, а сквозь этот прозрачный материал, сквозила вышитая шемизетка. Голова пораженного Адольфуса склонилась на сторону, рот слегка раскрылся: он был побежден!

Они вступили в разговор. Мисс Анастасия села около него на софе, распустив свои роскошные облака и скрыв ими Долли почти совершенно.

Она чрезвычайно мило и сочувственно относилась к его страданием, симпатично вздыхала, трогательно взглядывала. Иногда его речь так сильно ее потрясала, что она на мгновение закрывала лицо надушенным платком и испускала тихие восклицание.

– Что особенно заставило вас так страдать? – спросила она с глубоким интересом.

– Я полагаю, – отвечал очарованный Адольфус: – что инструмент был слишком велик для моего рта...

– А! ужасно! меня это бы убило! – пролепетала Анастасия. Но милой девице не угрожала вовсе опасность: её ротик, хотя и классический, был достаточно широк и вместителен.

Старый де-Кад пригласил меня и Долли остаться обедать. Адольфус, к моему великому огорчению, отказался, говоря что не может теперь ничего есть.

Но мистрисс де-Кад стала его уговаривать, а мисс де-Кад воскликнула:

– О, останьтесь!

И при этом так очаровательно вспыхнула, что Адольфус забыл свою рану и согласился.

Когда радужный лакей доложил, что кушать подано, Адольфус храбро предложил руку прелестной очаровательнице, и я заметил, что он ей как раз по пояс. Она приняла его руку с милейшею улыбкою и поплыла держась за него, как за дорогой ридикюль.

Как она была внимательна и добра, бесценная девушка!

– Не утомляет ли вас лестница? – нежно спросила она Долли, спускаясь в столовую. – Не отдохнете ли вы?

Бедный Долли, который подпрыгивал, стараясь идти на цыпочках, отвечал с невинностью младенца:

– О, я могу идти! Ноги у меня не болят, болит только во рту!..

Глава II. Голубки

Что может быть интереснее возникающей любви? Что может быть любопытнее постепенного прогресса нежного чувства? Блаженная страсть!

Я понимаю волнение влюбленного человека, но я тоже вхожу и в чувства спекулирующей матери и ценю благородные страдания отца.

Обед в Блумсбери-сквере внушил мисс Анастасии некоторые мысли, затмил Долли последний рассудок и подал мистрисс де-Кад самые лестные надежды.

Поведение маленького обожателя много обещало; два раза он попробовал сказать комплимент (которой совершенно бы пропал, если бы мистрисс де-Кад не поспешила его искусно выяснить); он не сводил с красавицы глаз и в то же время трепетал, боясь что она это заметит; он чувствовал нервную дрожь и улыбался; желая для контенансу², положить себе молодого картофелю, он рассыпал его по полу; он метался до тех пор на своем кресле, пока не запутался в роскошных складках воздушного платья и, стараясь выпутаться, разорвал сверху до низу два полотнища.

Но все были светло и счастливо настроены, и Долли был успокоен прежде, чем краска смущения успела сбежать с его лица. Я сравнил молодой картофелю с бильярдными шариками, а великолепная Анастасия, улыбаясь божественной улыбкою, сказала (я опасаюсь, не совсем чистосердечно), что она бесконечно рада погибели этого противного платья: она именно его терпеть не могла и обещалась отдать его горничной.

Я потом видел его самое платье на её младшей сестре, много обещающей в будущем девочке; она носила его по воскресеньям.

Возбужденное состояние Блумсбери-сквера достигло высшей степени, когда Долли на другой день снова явился, «показать свой рот», объяснил он; но опытную мать, как мистрисс де-Кад, не проведешь такими жалкими уловками.

Долли явился слишком рано, и потому его визит произвел большую суматоху; мисс Анастасия не успела еще облечься во всеоружие брани. Положение было критическое, но генерал не потерялся. Радужный лакей был отправлен к главе семейства с запиской смотреть Долли в рот, пока мисс Анастасия будет готова.

– С этого дня надо одеваться как можно раньше, моя милая, – говорила взволнованная мать. – Нельзя рисковать... Такой клад не скоро сыщешь! Теперь с утра надо надевать персиковое шелковое платье – оно очень эффектно...

Свидание Анастасии и Долли не удалось: не утешило нежных родителей и не развеселило красавицу. Войдя, Долли увидал божественное создание, глубоко погруженное в чтение книги (она держала ее вверх ногами); она вздрогнула при его неожиданном появлении и сказала, что это очень любезно с его стороны.

Радужному лакею было отдано приказание доложить мамаше, что пожаловал мистер Икль, но мамаша, слушавшая под дверями, сочла за лучшее не мешать разговору молодых людей. Она терпеливо ждала, и когда Долли уехал, кинулась к детищу, повторяя задыхающимся голосом:

– Что? Что? Что?

Анастасия была раздражена. Она презрительно ответила:

– У нас был неприятный разговор: мы, главным образом, толковали о его рте.

– Господь Бог мой! – воскликнула мамаша. – Что за умовредный человек! Но каков он был вообще?

² «Для контенансу» это означает – для вида, для того, чтобы казаться непринужденным.

– Он точно боялся меня и думал как бы сбежать. Я напрасно старалась переменить разговор: он всё сводил его к своему мизерному рту!

Она была так сердита, что не будь у Долли 1200 фунтов годового дохода, она отправила бы недогадливого простачка на все четыре стороны.

Но побежден окончательно Долли был при втором свидании. Я это понял, как только пришел к нему и взглянул на него. Он быть ласков донельзя, шерри явилось передо мною в мгновение ока; я молча сидел и ждал его исповеди. Он не знал, как завести речь, и начал ходить взад и вперед по комнате, ступая по пестрому ковру так, чтобы нога непременно попадала только в голубую клетку. Нервные люди, когда чем-нибудь сильно взволнованы, всегда прибегают к каким-нибудь противоволнующим средствам. Один мой знакомый, говоря мне о болезни ребенка, съел весь ноготь большого пальца; другой знакомый, в случае сильного возбуждения чувств, таскает себя неистово за бакенбарды. Некоторые дергают себя жестоко за нос; другие кусают себе губы; у иных бывают конвульсии. Долли так старался попадать в голубые клетки, что ослабел от усилий и на лбу у него показались капли нота. Ножки его выдвигали разные быстрые па, и скользили, как угри; его лицо было торжественно, как у мусульманина. Напрасно я, время от времени, говорил: «какова сегодня жара, Долли, а?» или спрашивал: «что нового, Долли?» Он, казалось, не слышал меня и не замечал. К счастью он, наконец, сбился с голубой клетки и опомнился.

Тогда он покраснел и начал:

– Да, сегодня очень жарко; новостей нет; но я хочу попросить у вас совета, дорогой мой Джек. А вы, пожалуйста, надо мной не смейтесь!

Самое верное средство заставить человека смеяться – это попросить его не смеяться.

– Начинайте, дружище, – ответил я, совершенно готовый надорвать бока от хохота.

Он начал.

– Как вы думаете, – сказал он, торжественным тоном – высокий рост имеет большую важность?

Я еще не успел выговорить: «никакой важности!» как он уже продолжал:

– Думаете вы, что девушка предпочтет высокого человека человеку среднего роста?

Я сказал:

– Что за чепуха!

– Но мы привыкли соединять величие души и твердость характера с благородным построением тела. Я полагаю, люди маленького роста никуда не годны!

Злосчастный юноша! Как он себя ненавидел в эту минуту!

Чтобы его успокоить, я спросил, что у него лежит на душе.

Он поспешил высказаться.

– Предположим, что я желаю кому-нибудь посвятить всю свою жизнь. Ведь это благородное желание, потому что очень рискованное; но как женщина, например, примет мои слова? Разве я могу ей говорить о каких-нибудь подвигах, о погранных врагах, и о побежденных опасностях, когда она видит, что я едва могу влезть на стул? Я всегда полагал, что женщины любят таких мужчин, которые обладают львиною силою и львиным мужеством.

– Вы неправы! – сказал я решительно.

(Я пил его шерри и считал своим долгом утешать).

– Я прав! – ответил он. – Я не осмелюсь сделать предложение женщине! Всякая глядит на меня с презрением!

– Есть очень маленькие женщины... – начал я.

– Я не люблю карлиц! – ответил он гневно. – Посмотрите на Анастасию де-Кад – вот женщина!

– А! – сказал я – из нее выйдет даже полторы!

Безумие шутить в таких случаях. Он пришел в негодование.

Я поскорее принялся превозносить несравненные прелести Блумсберийской Бобелины, и этот маневр спас меня от его гнева. Он смягчился.

– Мой злосчастный обморок уронил меня в её глазах, – меланхолично сказал он – но старик так рванул зуб...

Затем, вдруг просветлев, он прибавил:

– Как она была очаровательна в голубых полусапожках! Божественна!

– Долли, – начал я убедительно – вы по пустому себя мучите. Разве вы до сих пор не знаете, что высокие женщины без ума от малорослых мужчин?

– Не хотите ли еще шерри, Джек? Что ж вы совсем не пьете? Может, вы предпочитаете кларет? Я хочу попросить вас об одной услуге... Не можете вы как-нибудь узнать мысли Анастасии на этот счет? Только поскорее, Джек. Впрочем, это совершенно бесполезно! – прибавил он меланхолично. – Нечего себя тешить мечтами!

Он с томительной тоской поглядел на меня, ломая свои красивенькие, прозрачные пальцы.

– А как вы полагаете, дружище, много у неё обожателей с таким состоянием, как у вас, а? Большой доход лучше большого роста.

Бедный крошка привскочил на месте и вскрикнул:

– О, нет! нет! ни слова о деньгах, Джек! Я хочу чистой любви... я жажду... Лучше уверьте ее, что у меня ничего нет, что я без всяких средств... и что я буду для неё трудиться... Это придает мне значение... Но к чему ласкать себя несбыточными надеждами? Разве этот бесподобный серафим обратит на меня внимание? что я перед ней?

– У вас очень интересный вид, Долли, – сказал я – и вы напрасно так отчаиваетесь.

Любовь Долли, медицина и домашние междоусобицы с хозяйкой совершенно поглотили всё мое время, и завалили меня по горло работой. Кроме того, постоянные обеды с Долли изнежили мой нрав; человек, подобный мне, не должен привыкать обедать; ежедневные обеды развивают в организме легкомыслие и безумную самонадеянность.

А между тем мой бедный крошка-Долли не мог обойтись без меня ни минуты. Вечною темою ваших разговоров была прекрасная Анастасия; меня уже начинало тошнить при её имени.

Невозможно себе представить ничего беспомощнее этого влюбленного карапузика! Раз я застал его в сокрушении; он испускал какие-то жалобные горловые звуки, похожие на болезненное воркованье, и промучившись над ним с час, я выпытал наконец, что его преследует мысль о разорванном платье красавицы.

– Что она должна думать обо мне? – стонал Долли. – Я не смею идти туда, не смею ей показаться на глаза! Господи! Если бы я мог послать ей какой-нибудь подарок, а?

– Отчего ж не послать, Долли?

– Вы думаете, это позволительно? – вскричал он, и лицо его просветлело. – Но я не знаю... я не умею покупать, ни выбирать, Джек...

– Я выберу и куплю за вас, хотите?

Он совершенно повеселел.

– О, как вы милы и добры, Джек! Я никогда, никогда не забуду этой услуги!

Подарок был куплен и отправлен при умном и любезном письме (моего сочинения) в Блумсбери-сквер.

Гогот гусиной стаи и смятенное маханье крыльями, когда собака врывается в среду гусяного стада, может дать слабое понятие о том шуме, который поднялся у де-Кадов при получении нашей посылки, Долли не был у них вот уж неделю. Они уже стали забывать о мелькнувшей было надежде. Мистрисс де-Кад назвала уже Долли карликом, старина Боб грозился его изувечить, а прекрасная мисс Анастасия выражала к нему полнейшее презрение.

Но с моим появлением надежда засияла снова, и засияла куда более ярким светом.

На семейном совете решено было снабдить Боба деньгами и поручить ему пригласить меня на товарищеский обед в ресторане. Он должен был подпоить меня и выпытать у меня всю подноготную о Долли.

Я всё это тотчас же сообразил.

Я рассуждал так: эти люди хотят поймать Долли; и я могу им помешать; но с другой стороны Долли погибает от любви и готов согласится на все, лишь бы жениться на Блумсберийской красавице.

А красавица? Я не осуждаю её так, как осуждаю её родителей. 1,200 фунтов годового дохода – это такое искушение, против которого трудно устоять девушке, т. е. невольнице в родительском доме.

Она, разумеется, ни чуть не любит Долли; она и не помышляет о любви; все её мысли заняты его доходом. Но Долли – милейший, добрейший человек, и она не решится обижать и притеснять его. Разумеется, она будет вертеть им, как ей угодно, но он и сам будет рад ей во всем слепо повиноваться.

Я с аппетитом съел обед Боба и кроме того досыта натешился, наблюдая за его уловками вызвать меня на болтовню о Долли. Безобразный молодой человек! где ему было тягаться со мною! К концу обеда он совершенно опьянел и не был в состоянии связать двух слов. Я сам начал речь.

– Скажите мамаше, Боб, что мистер Икль окончательно пленен вашей сестрицей, и если мисс Анастасия согласна, то она может быть пристроена как нельзя лучше.

– Отлично! – пробормотал он. – Выпьем за их здоровье!

И он опорожнил бокал себе в жилет.

Услыхав радостное известие, нежная родительница упала на грудь дочери и осыпала ее поцелуями. Прелестная Анастасия вдруг, казалось, выросла еще на фут, – так божественно подняла она свой орлиный нос и таким победоносным взором окинула своих близких сердцу домочадцев.

Вся семья стала оказывать необыкновенное внимание Анастасии; все сознавали её огромное значение и ту несравненную услугу, которую она оказывала всей семье. Все были чрезвычайно веселы и одушевлены.

– Мой друг, – сказала мистрисс де-Кад своему супругу: – вы должны дать мне денег: Анастасии надобны некоторые вещи...

– Мое сокровище! – обратилась мамаша к своему детищу – нечего мешкать, а надо поскорей одеться: он может придти рано. Я дам вам свою кружевную пелеринку, только вы не надевайте ее прежде, чем услышите звонок.

– О, мамаша! – пролепетала интересная красавица.

– Делайте, что вам приказывает мать, Анастасия, – сказал папаша. – Я даю вам шесть фунтов.

– Зачешите волосы назад и пришпильте черные бархатные банты; и золотую стрелу воткните в косу, – продолжала мамаша деловым тоном.

– Хорошо, милая маменька.

– И придите возьмите мою алмазную брошку. Нет! погодите! Наденьте венок из махрового маку. Можно сказать, что собираетесь дать сеанс живописцу, готовите сюрпризом для отца свой портрет. Это дает очень хорошее понятие о вашем сердце и сразу завязывает интимный разговор.

– Но если он не придет? – возражает невинная дева.

– Не придет! – восклицает мамаша. – Я не даром прожила на свете, и знаю, что говорю. Не забудьте перчаток.

Мамаша не ошиблась; он пришел. Я сам довел его до дверей и оставил там в сильнейшем смятении. Увидев Анастасию в венке, он совершенно потерялся и у него явилась мысль бежать к первому же парикмахеру и велеть завить себе волосы.

Свидание прошло удовлетворительно. Анастасия (она обладала необычайным тактом) поместилась у окна и разговаривая, подстерегала первого прохожего высокого роста. Скоро показался высоченный джентльмен.

– О, мистер Икль! – шутливо вскрикнула очаровательница – поглядите на этого человека! Видали вы такое чудовище? О, какой ужасный!

Счастливый Долли взглянул и в душе пожелал быть таким чудовищем.

– Он очень высокого роста, – ответил он, и прибавил с волнением – разве вам не нравятся люди высокого роста, мисс де-Кад?

– Разве они могут нравиться, мистер Икль?

Она состроила очаровательную гримаску, выражающую отвращение и сказала:

– Я их ненавижу! Я называю их фонарными столбами! Ха! ха! ха! Они такие нескладные, не знают куда девать свои громадные руки! О, безобразные чудовища! Ха! ха! ха!

Долли тоже расхохотался и подумал, что Анастасия – умнейшая женщина на свете.

– И какие они неуклюжие, неотесанные всегда, наступают ножищами на платье, затоптывают, рвут... О, я их терпеть не могу!

Долли покраснел, как раз.

– Раз я был так несчастлив... пробормотал он – разорвал...

– О, я это вам давно простила! – поспешно перебила добрая красавица – я была виновата, а не вы; я – неловкое, неуклюжее создание!

И она лукаво и нежно на него поглядела.

Долли горел желанием сказать ей, что она была прелестнейшим созданием, но у него не хватило столько мужества: он только смотрел на нее с обожанием и сильно краснел.

– Он премилый крошка, – сказала красавица своей мамаше. – Надо его немножко помустровать, и из него выйдет презабавное созданище. Я полагаю, что привяжусь к нему.

– Разумеется, моя милая; это ваш долг, – ответила мамаша.

Дело пошло живо, к великому удовольствию всего племени де-Кадов. Зная мое влияние на Долли, они подкупили мое расположение всевозможными средствами: утонченной лестью, превосходными обедами, изъявлениями симпатии и проч., и проч.

Но Долли медлил с объяснением, а родители де-Кады были нетерпеливы. Замедление раздражало тоже Анастасию. Она достигла того, что он называл ее «Стэйси», сама называла его Долли, но хотя нерешительный крошка таял видимо от любви, он всё ещё не сделал настоящего предложения о вступлении в брак.

– Я не могу! не могу! – говорил мне Долли. – У меня язык не поворачивается! Господи! чем все это кончится!

Наконец, я сжалился над ним и взялся все устроить.

Я отправился с мистрисс де-Кад и переговорил с нею. Старая лицемерка начала с того, что всплеснула руками и ахнула; затем взволнованным голосом стала выражать свои опасение: это такой важный шаг в жизни женщины; так мало зная человека, выходить за него замуж страшно; можно после раскаяться в благородной доверчивости и т. д., а кончила тем, что никогда не решится принуждать свое дорогое дитя и всё предоставит её сердцу.

Я показал, разумеется, вид, что всему этому свято верю и поручил ей молить мисс Анастасию сжалиться над бедным Долли.

– Мистер Икль может положиться на меня, – отвечала с чувством старая плутовка.

Разумеется, Анастасия «сжалилась», и радость Долли была до того велика, что я счел нужным употребить для его успокоения некоторые медицинские средства. Решено было, что молодые люди должны объясниться как можно скорее.

В назначенный час я привез Долли в Блумсбери-сквер. Едва он появился, как мистрисс де-Кад ринулась на него, называя своим драгоценным сыном и поймала его в свои объятия, между тем как старый Рафаэль простирает над ним руки, давая свое родительское благословение и заклиная его постоянно любить и беречь вручаемое ему нежное сокровище. Я избавил бедного Долли от этой пытки, обратясь с поздравлением к чувствительному дантисту и вырвал задыхающегося крошку из объятий нежной тещи, как пробку из закупоренной бутылки.

В гостиной, на малиновой штофной софе, сидела прелестная Анастасия, нюхая престонские соли. Одета в непорочное белоснежное одеяние, оживленное двумя-тремя десятками аршин ярких розовых лент, она представляла собою олицетворение доверчивой невинности. В волосах у неё была роза, усыпанная стеклянными росинками.

Мы втолкнули Долли в гостиную и поспешно удалились, т.-е. удалился я; мистрисс де-Кад, дантист и молодой Боб только сделали вид, что уходят, а на деле вернулись снова к дверям и стали подслушивать.

Увидав своего будущего властелина, чувствительная Анастасия упала в обморок. Этот неожиданный пассаж так поразил Долли, что он схватил престонские соли и принялся совать ей в нос флакон, отчаянно вскрикивая:

– О, Анастасия! О, Господи! Я не виноват! Мне сказали, что вы согласны! О, великий Боже! О! Я уйду! Сейчас уйду! Где доктор? Очнитесь, я уйду!

Он в самом деле хотел бежать, и это заставило красавицу очнуться. Она с усилием открыла глаза, бросила кругом очаровательно-дикий взгляд и спросила, что с нею и где она. Затем, она узнала Долли, сладостно ему улыбнулась и дала поцеловать руку, а через две секунды собрала достаточно силы, чтобы выразить ему свою любовь несколькими милыми словами.

– Вы всегда будете добры ко мне, Адольфус? – пролепетало прелестное, слабое, беззащитное и невинное существо.

– О, всегда! О, вечно! – отвечал безумный крошка.

Боб бросился прочь от дверей и разразился хохотом в отдаленных покоях.

– Она просит *его* быть в ней добрым! – говорил молодой циник, хватаясь за бока. – Бедный карапуз! Дай Бог, чтобы у него осталась цела голова на плечах!

Глава III. Заря счастья

Долли ждал бракосочетания с лихорадочным нетерпением и всех торопил. Безмозглый молодой человек! Это было самое золотое время; он тогда вел именно ту жизнь, какая приличествовала такому слабому, добродушному и невинному смертному. Мамаша де-Кад перед ним благоговела, папаша де-Кад подобострастно угождал ему, Боб перестал занимать у него деньги – словом, он царствовал в Блумсбери-сквере!

У него составилось убеждение, что величественная Анастасия, выходя за него замуж, приносит ему величайшую жертву, и он строил тысячу планов, как бы отличиться и не допустить ее до раскаяния; он думал о ней денно и ночью и шалел от избытка счастья; он каждый день таскал ей всевозможные подарки; подходя к дому, он начинал весь дрожать, как ананасное желе, а если в окне показывался божественный горбоносый серафим, если мелькал хоть локон черных как смоль роскошных волос, перевитых пунцовым бархатом, он спотыкался, глаза ему застилало туманом и он не попадал в двери, не стукнувшись обо что-нибудь лбом или затылком.

– О, как поздно, Долли, негодник, – говорила прелестная и нежная невеста. – Я ждала вас так долго-долго! О, если бы у вас не было этих милых глаз, как бы я вас разбранила! Но эти глаза! Я против них бессильна!

– О, Стэйси! Я опоздал, потому что хотел купить эти алмазные сережки... Я больше никогда не буду! Я прямо буду спешить сюда!

– Ах, какие чудные сережки, Долли! И как они кстати! О, милый, милый друг! О, простите мои слова! Меня так глубоко трогает ваше внимание, Долли, что я готова вас ждать сколько хотите! Не стесняйте себя никогда! – уговаривала добрая девушка. – О, чудные сережки! Я войду покажу их маменьке!

Мамаше было немного завидно; она сама любила ценные вещи; но она затаила свои чувства и любовалась на подарок.

– По крайней мере десять фунтов дал, – сказала эта вульгарная матрона.

Раз Анастасия спросила Долли, не любил ли он прежде.

– Я любил очень мою кормилицу, – ответил Долли.

– Вы знаете, что я подразумеваю, Долли!

Он долго припоминал, наконец ответил:

– Была одна, мисс Мильс...

– Ах! Мисс Мильс!

– Она дала мне свой локон на память, но я не мог ее любить; она была такая ничтожная.

– О, я знаю, что есть еще кто-нибудь! Какая-нибудь ужасная женщина, которая вырвет вас из моих объятий и разобьет мое бедное сердце!

– Ах, вы говорите о переплетчице? Клянусь честью, между нами ничего нет!

– Я это предчувствовала! Я это предчувствовала! – взвизгнула мисс Анастасия. – Признавайтесь во всем, сэр! Во всем, если не хотите, чтобы и упала мертвая у ваших ног!

Я бы предоставил ей кататься по ковру сколько душе угодно и был бы безмятежен полагаясь на здоровое телосложение чувствительной и страстной женщины, но Долли пришел в ужас, бросился на колени, вопил, просил прощения, клялся в любви и невинности; наконец, он подарил ей массивный золотой браслет с огромным изумрудом, и тогда только она поверила его чистоте и верности.

– А вы, Стэйси, никого не любили прежде? – спросил трепещущий Долли, когда мир был уже заключен.

– О, нет, – скромно ответила красавица. – Я не шла замуж, потому что никто не нравился. Я отказала лорду Маргету, как он ни молил меня...

– Лорду Маргету? Этому великолепному мужчине!

– Между нами не было симпатии, Долли, – просто объяснило неподкупное создание.

Воркованье длилось уже несколько недель и семья крайне нетерпеливо ждала свадьбы. Старые де-Кады ссорились, что так долго продолжаются экстренные расходы, а мисс Анастасия, отличавшаяся живым нравом, не совсем благодушно выносила упреки мамы за медленное ведение дела.

– Пожалуйста, не оправдывайтесь, Стаси! – восклицала мистрисс де-Кад. – Я очень хорошо знаю, что он все сделает, что вы пожелаете. Мне уже надоело ворчанье вашего отца! Что вы хотите уморить меня, что ли?

В одно прекрасное утро Долли получил от доктора Ле-Дерта, приятеля старого де-Када, приглашение на вечер. Я до сих пор подозреваю, что старый де-Кад поверил Ле-Дерту свое затруднительное положение и попросил его помощи.

Вечер мы провели преприятно. Анастасия возбуждала восторг мужчин, но была неприступна для всех, как богиня; Долли сначала принялся ревновать, как Отелло, но нежная улыбка его успокоила и развеселила. Я заметил, что все гости как будто ожидали чего-то и что дамы подходили к Анастасии и пожимали ей руку, как бы желая сказать: «не робейте!»

Когда стали разносить шампанское, доктор Ле-Дерт поднял свой бокал и объявил, что предлагает тост.

– Пожелаем здоровья и счастья нареченным мистеру Адольфусу Икль и мисс Анастасии де-Кад!

Признательный дантист ответил благодарственным спичем.

– Через несколько дней, – закончил коварный отец: – я расстаюсь с дочерью, я лишаюсь ее! Но зато я приобретаю сына!

Всеобщее сочувствие выразилось потоком поздравлений, и мистрисс де-Кад, не совладав с своими чувствами, удалилась из-за стола и в дамской уборной дала волю слезам.

На следующее утро радужному лакею дано было приказание просить мистера Икля, как только он появится, в комнату мистрисс де-Кад.

Она встретила Долли сладостною улыбкою и объявила ему, что после вчерашних поздравлений свадьбу не следует откладывать.

– Надо принудить Стэйси, – сказала она: – а то бедное дитя никогда не назначит решительного дня. Она со слезами молила меня отложить свадьбу еще хотя бы на год.

– На год! – вскрикнул испуганный Долли.

И они поспешно отправились к мисс Анастасии.

– О, мама! – время еще терпит, ответила красавица, опуская глаза.

– Вы огорчаете мистера Икля, дитя моё, – сказала мамаша.

– О, Долли! – вскрикнуло трепетное создание, испуганное одной мыслью, что могло огорчить своего избранного.

– Свадьба будет через десять дней! – холодно и повелительно сказала мистрисс де-Кад.

Бедная девица поглядела кругом с изумлением и даже некоторым ужасом.

– Через десять дней! – воскликнула она. – О, мамаша! Я не могу! Дайте мне еще хоть один год, хоть один год!

– Через десять дней! – решительно сказала мистрисс де-Кад.

– О, через шесть месяцев! Через шесть месяцев! – молила трепещущая красавица.

– Через десять дней!

– Хоть месяц! хоть месяц дайте!

– Через десять дней!

Анастасия видела, что мольба бесполезна и опустила голову. Долли, желая ее ободрить, взял её за руку и прошептал:

– О, Стэйси! Я буду с вами – не бойтесь ничего!

– О, Долли! Долли! вскричала красавица, падая в нему на грудь. – Если вы когда-нибудь обманете меня, я погибну!

Мамаша, отирая слезы, побаловала бедное дитя и, взяв Долли за руку, увлекла его из комнаты.

– Мистер де-Кад желает переговорить с вами наедине, – пробормотала она, всхлипывая и пожимая от избытка волнение руку Долли.

Глава IV. Мисс Анастасия пристроена

Блумсберийский дантист был жирный, иронический, бесчувственный деловой человек. Огонь и мечты юности были в нем давно продужены говядиной и портвейном, все стремления и помышления его были обращены на звонкую монету.

Старый разбойник тщательно приготовился в свиданию с своей жертвой. Хотя свидание пришлось не в тот день, когда он переменял белье, он надел чистую рубашку, пригладил старательно волосы и сделал колечки на висках; он спрятал зубные инструменты и сел сам в кресло, обыкновенно занимаемое пациентами.

Он встретил Долли с такою сладкою и чувствительною улыбкою, которая заставила бы опытного человека немедленно обратиться в бегство.

Зять был введен тёщею, которая объявила тестю, что свадьба будет ровно через десять дней. Он выказал горестное удивление и чуть не зарыдал при мысли, что так скоро разлучится с милою дочерью.

– Может быть, все это к лучшему! – пробормотал он. – Я рад, я очень рад... Говоря правду, Адольфус, это убивало бедное дитя, Она никогда не отличалась сильным здоровьем... Правда, моя милая?

Мамаша покачала только головою и глубоко вздохнула. Адольфус был словно поражен громом.

– Постоянное волнение истомляло ее, – продолжал отец, мрачно сдвигая брови. – Она похожа на мать: сегодня на вид крепка и здорова, а нельзя поручаться, что завтра поутру она не будет лежать на столе!

Это неприятное замечание передернуло мистрисс де-Кад, хотя она и пользовалась превосходным здоровьем. Желая переменить предмет разговора, она поспешно сказала:

– Как трудно было уговорить Стаси!

– Я знал это, моя милая, – отвечал дантист. – Оставить дом, отца, мать – ведь это страшно волнует ее! Она необыкновенно чувствительная девушка, Адольфус! Добра, как ангел и любяща, как дитя!

– Ах, помните вы ту бедную женщину? – сказала мистрисс де-Кад. – Помните?

– А! несчастную негротянку, мой милая? Вообразите, Адольфус, вид этой отверженной так подействовал на Стаси, что она чуть не заболела; я должен был остановить ее силою, иначе она отдала бы всё, что у неё есть, этой несчастной женщине.

Это и другие доказательства мягкости нрава мисс Анастасии глубоко трогали Долли. Он повертывался всем корпусом то к папаше, то к мамаше, смотрел на них счастливыми глазами и только произносил: о! о! о!

Когда старый де-Кад нашел, что Долли достаточно растроган и следовательно расположен к великодушным и необдуманым поступкам, он вдруг вспомнил, что Анастасию все оставили на жертву собственным мыслям, и послал мать успокаивать неопытную красавицу.

Робкий Долли почувствовал смущение, оставшись наедине с дантистом.

«Что он хочет мне сказать?» – думал невинный человек.

– Через десять дней! – проговорил дантист. – Боже мой! Трудно все устроить в такое короткое время!

– Неужели?

– Очень трудно. Надо спешить.

– Конечно, надо спешить! – с одушевлением заметил Долли.

– Мистрисс де-Кад говорила с вами относительно приданого дочери?

– Нет! – произнес он с изумлением, когда Долли в ответ покачал отрицательно головой. –

Ах, женщины ничего не смыслят в серьёзных делах!

Долли улыбнулся, потому что де-Кад улыбался, – из учтивости, а не от веселья.

– Я, конечно, не считаю богатства неперенным условием счастья, – продолжал дантист.

– О, разумеется! – с жаром воскликнул Долли.

– Это часто только лишняя обуза для любящих сердец.

– Несомненно, – отвечал Долли.

– Я даже в этом уверен! – сказал старый плут. – Впрочем, Адольфус, я вовсе не ханжа. Я не встаю против пользование земными благами, против благодетельного влияния богатства на окружающую нас среду. Это наполняет и украшает жизнь! Вы имеете намерение застраховать свою жизнь?

– Если Анастасия этого захочет... – отвечал несколько ошеломленный крошка.

– Это мы после обсудим вместе, – спокойно сказал дантист. – Вы, конечно, знаете, Адольфус, что моя дочь получит свою часть только после моей смерти?

Великодушный простофиля отвечал:

– Нет, я не знал этого, но это мне все равно; у нас будет чем жить.

– Благородно сказано! Благородно, прочувствовано! Я горжусь вами! – вскрикнул дантист с неподдельным энтузиазмом. – Вы вполне заслуживаете счастья, Адольфус. Но говоря о счастье, я вспоминаю, что все мы (глубокий вздох) игрушки рока. Вы намерены укрепить за Анастасией какой-нибудь капитал?

– Ей принадлежит все, что у меня есть, – ответил Долли.

– Подобные чувства возвышают вас еще более в моих глазах, Адольфус, но я полагаю, вы сами будете спокойнее, когда укрепите что-нибудь за Анастасией; вы будете уверены, что – сохрани Бог! – если случится какое-нибудь несчастье, ваша жена и дети будут обеспечены. И потом войдите в положение отца и матери: я не в состоянии буду сомкнуть глаз, думая о будущем дочери, предоставленном всем случайностям рока!

Сентиментальный маленький простофиля отвечал:

– Я рад сделать все, чтобы успокоить родителей моей Анастасии!

– Бог да благословит вас, Адольфус! – воскликнул дантист, давая волю своим взволнованным чувствам. – Но теперь надо еще уломать Анастасию: она будет всеми силами этому противиться, я знаю!.. Вы назначите ей 600 фунтов в год, и я, пожалуй, буду одним из доверителей. Ну, идем же к ней!

Милая красавица видимо просияла при появлении своего избранного; она еще не оправилась после недавней сцены и в глазах её выражалась тихая печаль.

– Вы хотели видеть меня, Долли? – сказала она, взяв его руку и лаская своею так нежно, что он не мог ответить ей слова от волнения. Он только собрался с духом говорить, когда она оставила его руку.

Как предсказывал старый де-Кад, так и вышло. Едва только Долли произнес слова: «укрепить капитал», она закачала головою, сдвинула с негодованием брови и закричала:

– Нет! нет! нет! никогда! Довольно об этом! Я отказываю! Я несогласна!

– Но, милая, милая! подумайте о случайностях... мы все подвержены... – бормотал Долли, восхищенный её бескорыстием. – Может случиться несчастье, может придти бедность...

– Я буду делить с вами нищету! – воскликнул благородный ангел, поднимая глаза вверх. Он долго пробовал уговаривать, но она все отвечала: никогда!

– Для меня, для моего спокойствие, согласитесь.

– Кончим этот разговор! – сказала она, сурово сдвигая брови.

– Для успокоение ваших родителей, Анастасия! – сказал он, пробуя последнее средство.

Это ее поколебало. Она пролепетала: «милая, милая маменька!» и склонила молча голову. Это равнялось высказанному согласию.

Долли огорчился. Как! она делала для родителей то, чего ни за что не хотела сделать для него! Вместо того, чтобы осыпать ее восторженными поцелуями признательности, он, к изумлению красавицы, вдруг надулся, как мыш, и сказал обиженным голосом:

– Анастасия, я больше не буду настаивать.

– Милая, милая мамаша! – слабо пролепетал встревоженный ангел.

– Я более не скажу об этом ни слова!

– Добрый, любящий папаша! – вздохнул еще более встревоженный ангел.

– Довольно об этом, – сказал он решительно.

– О, как я неблогодарна! – вскрикнул ангел почти в ужасе.

– Ни слова более! – сказал он мрачно.

– Если вы думаете, Долли, что это необходимо... – вскрикнул ангел в отчаянии.

– Я ничего не думаю!

– Милый, великодушный друг, я сдаюсь! Закрепляйте за мной, что хотите, я на все согласна, я вам покорюсь! – воскликнула самоотверженная душа.

– Это была не моя мысль, а здесь не при чем! – был сокрушающий ответ.

– Наши малютки станут, быть может, упрекать меня... – пролепетала стыдливая дева.

– Они не будут терпеть ни в чем нужды! – гордо отвечал мистер Икль.

– Я сделаю это *для вас*, Адольфус, воскликнуло преданное существо, закрывая лицо руками при таком признании и холодея от смертельного страха потерять 600 фунтов. – Милый, великодушный друг! я признаюсь, что *вам* я ни в чем не могу отказать!

Она схватила его руку и поцеловала ее в порыве страстной нежности.

Прежде, чем были готовы пригласительные свадебные билеты, интересная бумага, закрепляющая за любящею невестою 600 фунтов в год, была засвидетельствована где следует.

* * *

Накануне свадьбы Долли совсем меня замучил. То он боялся, что не принесут вовремя подарков, купленных для невесты, то приходил в отчаяние, что свадебные панталоны не успеют к сроку.

– Господи! какое ужасное положение! – тихонько восклицал он, ходя в волнении по комнатам.

Он не дал мне ни на минуту сомкнуть глаз, опасаясь проспать и опоздать в церковь, и целую ночь только дремал и пронзительно вскрикивал.

* * *

Блумсберийская красавица была бесподобна в подвенечном уборе. Это было какое-то атласное божество: бела как заново выбеленный потолок, чиста, как сама невинность! Кажется, даже легкое прикосновение только что вымытого пальца запятнит ее изящные, волнующиеся одежды!

Жених был до того растерян, что старый де-Кад спросил меня, не пьян ли он.

Шесть подружек невесты дали волю своим чувствам и совершенно попортили себе завязки у шляпок; с мистрисс де-Кад едва не сделался припадок.

Возвращение домой и завтрак были торжественны, старый де-Кад заботился (под внутренним гордостью, вполне извинительной), чтобы свадьба произвела впечатление во всем приходе. Каждый сапожник на площади и на улицах знали, что дочь дантиста выходит замуж за очень богатого джентльмена. Это было недурно рассчитано на тот случай, чтоб соседи знали, куда нужно будет нести деньги, если у них заболят зубы, или нужно будет вставить новые.

Неудивительно, поэтому, что когда шесть экипажей подъехали к дверям, – каждое окно на площади было раскрыто, и наше возвращение приветствовали в этих окнах головы всякой величины и всякого возраста.

Украшением завтрака была, без сомнения, речь доктора Ле-Дерта. Лучшего проявления ораторских способностей я никогда не слышал, даже в нашем клубе. Женщины до того растрогались, что желе было разбито на куски от рыданий тех особ, которые его брали. В то время, как он говорил о будущем счастья – господствовала тишина, такая тишина, что когда я украдкой разбил ложечкой яйцо, то звук прогремел как громовой удар! все с ужасом на меня оглянулись; утешения любящим родителям, которые он представлял, вызвали громкие вопли, и потоки слез быстро полились со всех сторон.

Наконец, наступила та страшная минута, когда безумно любящее сердце матери должно было облиться кровью, – и когда должен был пострадать карман обожаемого отца, если отец обладает какой-нибудь долей душевного величия. Забывая о новом чепце, мамаша скрывает свое лицо в шляпке чада и целует милые щечки, теперь принадлежащие другому, – щечки, которыми она так страстно любовалась. Тут же невдалеке стоит и папаша, ожидая когда эти милые щечки освободятся, чтоб и самому запечатлеть сердечный поцелуй на их атласной поверхности. Взгляните, в его руке сверток, и когда любимое дитя поворачивает личико к милому папá, он кладет скрытое сокровище в её ожидающую ручку. «Спрячь в карман», шепчет он и отвертывается в другую сторону.

Когда Анастасия взглянула в таинственный сверток, она была неприятно поражена, увидев, что чек был только в пять фунтов.

Мы смотрели, как новобрачные благополучно уехали; джентльмены смотрели им вслед, стоя в дверях и помахивая салфетками, – дамы, красиво сгруппировавшись на балконе, неистово посылали руками поцелуи. Мистрисс Икль в дорожном наряде была восхитительна; а мистер Икль произвел на всех впечатление своим шотландским костюмом. Уличный кэб, нагруженный снаружи и изнутри багажом, следовал за новобрачными. Разумеется, на счастье вслед на новобрачными, брошен был старый башмак, который, попав на огромную, как барабан, коробку, имел честь сопровождать счастливую чету до самой станции железной дороги.

Я потом узнал, что по пути чрез город новобрачные не позволили себе отвести душу в разговорных изливаниях. Они были совершенно поглощены созерцанием своего счастья и друг друга. Они сидели рука об руку, не сводя один с другого восторженных взоров, – разве только для того, чтоб мигнуть.

Когда Долли испускал слабое стенание, Анастасия отвечала ему сдержанным вздохом; она знала, что это стенание значит «я тебя обожаю», а он переводил её вздох словами: «о, радость моя!»

Только когда экипаж достиг Чипсайда, шум и суматоха грубой черни заставили влюбленных очнуться от небесных восторгов и напомнили им, что они все-таки смертные. Беспрепятственные остановки и постоянная толчея низвели их с вершины блаженства на землю.

Бега по платформе вокзала, мистер Икль уже не был прежним застенчивым Долли, но гордым, повелительным, крикливым джентльменом, который распоряжался носильщиками, точно будто бы они были у него на жалованье, и вызывающим взором смотрел на каждого встречного. «Куда вы положили ящики *моей жены?*» кричал он, «смотрите! Эй! осторожнее с картонками *моей жены!*» гремел он. «Уложен ли багаж *моей жены?*» гневно спрашивал он.

Он решил дать знать всем и каждому, что он женат, и совершенно преуспел в этом; едва они сели в экипаж, как носильщик, просунув голову в окно, заявил ему, что «желал бы выпить за здоровье новобрачной, ваша милость».

Вслед за тем караульный пришел посмотреть их билеты и пожелал новобрачному счастья на всю жизнь, «а также и прекрасной леди». Еще три носильщика сильно желали осушить

кубок в честь прекрасной Анастасии, но это прелестное создание так гневно вскричало: «как вы смеете; мужики! прочь» что бесстыдные парни удалились в смущении.

Не бывало другого путешествия более сентиментального, чем путешествие этих двух существ, спешивших в Дувр. Как только Анастасия делала движение, Адольф с тревогой вскакивал с места; если ему случалось чихать, она уже была подле и поддерживала его. Когда утреннее возбуждение улеглось, Анастасия почувствовала сильное желание сомкнуть глаза.

– Засните, дорогая, – умолял нежный супруг.

– Засните, – шептала прекрасная супруга. – Если вы этого желаете, мой ангел, то я попытаюсь заснуть, но только для того, чтоб видеть вас во сне.

Потом он спросил:

– Отчего этот свисток так пронзительно свистит?

На это последовал восхитительный ответ:

– Я его не слышала, мой Адольфус; мои мысли были с милым сердцу.

– Будем всегда, моя дорогая, – сказал Адольфус, которому, в темноте тоннеля, внезапно пришла на ум светлая мысль – будем всю жизнь избегать ссор и несогласия.

– О, да! да! будем жить для счастья друг друга, – отвечала она серьезно.

– Знаю, жизнь моя, – продолжал добрый Долли, бледнея от волнения – что мой нрав временами жесток и суров, и боюсь, что вам это может показаться тяжелым!

– Как это странно! – возразила она. – Я вот никогда не бываю сердитою, никогда!

– Иногда, – продолжал маленький человечек – а сам себя ненавижу за то, что поддаюсь ужасному гневу. Это так дурно.

– Это замечательно! – ответила она. – Я не помню, чтоб когда-нибудь во всю жизнь увлеклась гневом!

– Хорошая девушка! – воскликнул Долли. – Я научусь у вас обуздывать себя. Когда нахмурюсь...

– Я буду улыбаться! – прервало милое существо.

– Когда я стану дуться... – прибавил он.

– Я вас буду ласкать! – заключила она.

Они приехали в Дувр в небогоприятное время. По причине прекрасной погоды город был переполнен посетителями, так что задние фасады верхних этажей домов сравнялись по цене с лицевыми изящными квартирами. Не видно было ни одного окошка с приятною надписью об отдаче комнат в наймы.

В довершение досады, все гостиницы были переполнены народом. Герцог Саксен-Горнбургский, посетив Англию на счет своего народа, Занял, с своею многочисленною свитою, один из отелей; герцог Саксен-Вольбергский, также с огромной свитой, завладел другим отелем; каждая из остальных гостиниц в городе была осаждена многочисленною свитою принца Скратченберга: все это были приглашенные гости нашего богатого королевства.

Что было делать? Пока новобрачная чета хлопотала о том, как бы устроиться, пароход отплыл в улыбающимся берегам Франции; ближайший рейс в Лондон был не ранее полуночи. Анастасия умирала от усталости, а между тем, вероятность отдыха казалась очень отдаленною.

Я убежден, что ни одна леди во всей Англии, кроме Анастасии, не добилась бы ничего. О деньгах тут не могло быть речи. Очаровательная ловкость и божественное умение вести дела – вот всё, на что можно было рассчитывать.

Войдя в хорошо известную своими удобствами гостиницу «Июньская Роза», Анастасия отвела в угол полногрудую хозяйку, и рассказала ей свою плачевную историю. Только сегодня утром обвенчалась; только несколько часов тому назад оставила великолепное городское жилище своего отца, и вот очутилась вместе с супругом (который тоже привык к удобствам) без пристанища и крова. Не грустно ли, что любой уличный бедняк был теперь счастливее их, людей богатых и привыкших вращаться в высшем кругу общества?

Сердце трактирщицы забилося сочувствием: она вспомнила тот день, когда сама была также невестой, полною надежд на будущее, и – поправив чепчик, бросилась в помещение жильцов-немцев.

Ей удалось уладить дело. Нашелся добрый человек, герр Грунтц, или, лучше сказать, ангел в образе человека, – который с первого же слова уступил свою комнату в распоряжение сокрушавшейся невесты. Он посоветовался с товарищами, и они согласились пожертвовать собою, и легли спать втроем на одной постели.

– Все люди прекрасные; они в свите принца Скратченберга, – объяснила хозяйка гостиницы.

– Как они добры! как великодушны! – восклицала благодарная Анастасия. – Утром, милый Адольфус, вы должны пойти поблагодарить этого джентльмена.

Не воображал бедный Долли, ставя за дверь свои маленькие сапожки, что этому самому господину Грунтцу, которому он был так благодарен за уступку постели, суждено сделаться несчастьем всей его жизни!

Долли, быть может, изо всех людей на свете, был человек самый робкий, наименее ищущий известности или одобрения толпы. Он любил свободу, уединение и спокойствие какого-нибудь тенистого лесного уюта. Нельзя сказать, чтоб он совершенно не любил общества себе подобных; но он был человек нервный, и не желал служить предметом чьего бы то ни было созерцания.

Можно себе представить его смущение, когда на следующее утро он очутился героем «Июньской Розы». Куда бы он ни пошел, за ним следовали улыбающиеся слуги. Если он позволял себе побродить взад и вперед пред домом для возбуждения аппетита пред завтраком, посвистывая какой-нибудь незатейливый мотив, немедленно за его движениями наблюдали головы в шляпах и чепцах, гладко выстриженные или завитые в букли. Он принужден был удалиться в свою комнату и ждать, чтоб Анастасия защитила его.

Это любящее создание услышало его шаги.

– Долли, милый, – крикнула она из спальни – что вы желаете, чтоб я надела, а?

Он подумал с минутку, а потом сказал:

– Наденьте, милочка, кружевную пелеринку! Вы в ней восхитительны!

– Глупый вы барашек! – возразила она: – ведь это была мамашина пелеринка.

Минуту спустя, милый голос опять крикнул:

– Долли, милый я не могу найти брошку!

– Не беспокойтесь, мы поищем ее после завтрака, – возразил он. – Наденьте алмазную.

– Какой же вы безумец, милочка! – отвечало благородное создание: – ведь вы знаете, что алмазная тоже принадлежит мамаше.

«Господи, подумал Долли: она все носила вещи матери!»

Тот же сладкий голос еще раз сказал:

– Ведь хорошо будет надеть браслеты; да, душа моя?

Долли любил видеть ее в браслетах.

– О, дорогая, наденьте, – задумчиво отозвался он: – те золотые браслеты, которые я видел на ваших прелестных ручках в первое наше свидание!

– О, злой лукавец, – воскликнула Анастасия: – будто я вам не говорила, что эти браслеты также мамашины!

«Господи помилуй! – мысленно воскликнул удивленный супруг с досадой: – отчего это всё принадлежало мамаше?»

Но всякая досада исчезла, когда очаровательная мистрисс Икль села за завтрак, восхитительно одетая в платье нежно-лилового цвета, которое сидело на ней очень ловко и чрезвычайно шло к её прекрасной фигуре. Она так грациозно распорядилась завтраком, что он выпил целых три чашки.

После завтрака, карета была нанята, ящики уложены; булоньский пароход уже сильно звонил в призывный колокол, а надо было еще поблагодарить учливого германца, уплатить по счету и присмотреть за багажом. Долли был командирован вниз для изъявление признательности великодушному чужеземцу, а Анастасия в это время сдавала сундуки. Долли вручил свою карточку слуге, изъявил желание видеть г. Грунтца, и стал бродить по зале, в ожидании ответа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.